

КЛОЧКИ ИЗ ЧЕХОВСКИХ ПИСЕМ.

После моего отъезда А. Н. Плещеева осталась гора писем и бумаг. Роясь в этой гора, я нашел большой сверток с надписью „Письма Чехова“. Письма собраны все вышитые и перевязаны веревочкой. Отдельно особенно дорожил перепиской Антопа Павловича и как будто копья эти листочки, подбирая один к другому.

Вся переписка относится к первому периоду, к началу чеховской литературной деятельности и представляет ценный материал для биографии Антопа Павловича и для характеристики этого удивительно-симпатичного человека и писателя.

Каждое письмо Чехова, разве за редкими и крошечными исключениями, может быть напечатано, потому что в них почти не встречаются личные счета и ни для кого нет оскорбительного. Целый томик вышел бы, если издать эту переписку, но я подожду до тех пор, когда вздумают собрать всю чеховскую переписку. Перечитывая часто письма Антопа Павловича к моему отцу, я отбывал отрывки, почему-либо оставившие мое внимание, и давно собрался познакомиться с ними публикой. Этим я не нарушу завещания покойного писателя, который вообще не находил ничего преступного в обнародовании писем литераторов после смерти. Как-то он писал Плещееву: „Напишите мне, дорогой мой, письмо. Я люблю ваши почерки; когда я вижу его на бумаге, мне становится весело. К тому же, не скрою от вас, мне льстит, что я переписываюсь с вами. Ваши и суворинские письма я берегу и заставляю их вникать: пусть с. с. читают и впадают в дѣла давно минувших... Я запечатаю все письма и заведу распечатать их через 50 лет, а la Гаевский, так что гонимая заповедь, напечатанная в „Вестнике Европы“, нарушена не будет, хотя я не понимаю, почему ее нарушить нельзя“.

Руководствуясь чеховской снисходительностью в таком щекотливом вопросе, я привел недавно несколько мнений его преимущественно о театре в своем „Петербургском Дневнике Театра“. Эти мнения и отзывы не только перепечатывались русскими газетами, но попали и в иностранные.

Предлагаемые отрывки, родственные более литературным и литературным вопросам, по моему много интереснее всяких воспоминаний, в которых сплошь и рядом тому, о ком вспоминают, приписывают свое индивидуальное, отчего личностно представляется в тусклом или фальшивом освещении.

Мертвые сраму не имут, но если бы они проснулись, то многим авторам воспоминаний пришлось бы плохо.

Возвращаясь к письмам Антопа Павловича. Он никогда не ставил на письмах года, ограничиваясь пометкой числа и месяца, поэтому установить хронологию не легко, да в настоящем случае и не нужно: собраны клочки из писем, а не подлинных писем.

Свою литературную программу Чехов определяет ясно и твердо, отнимая всякую возможность партийных споров, — кому они больше принадлежат.

„Прочитавши мой рассказ, напишите мне. Он вам не понравится, но вас, — писал он А. Н. Плещееву, — и Анны Михайловны * я не боюсь. Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не степеновец, не монах, не индифферентист. Я хотѣл бы быть свободным художником и — только, и жалую, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и лжисиле во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Н—чье с Гр—ским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кулуарах; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково и не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предразсудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, во всем бы последние два не выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником“.

„Беллетристика — покойное и святое дело. Повествовательная форма — это законная жена, а драматическая — эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница“.

„Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно. Не люблю я за это толстые журналы и не соблазняет меня работа в них. Партийность, особенно если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха“.

Про Чехова распустили в первые годы его появления на страницах петербургских изданий, что его приглашают постоянным сотрудником в одну из больших петербургских газет с жалованьем в 500 руб. в месяц. По тому времени это было очень большое жалованье. Чехов писал отцу:

„Мои взгляды на дело и отношения к людям не мешают мне поступить в газету. Но 500 руб. я считаю условиями не выгодными. Я соглашусь работать в газете или за 1,000 руб. в год или же за 1,000 руб. в месяц — дешевле не могу. В первом случае я читал бы только чужие рукописи, во втором же велю ожесточенную борьбу за свою самостоятельность и за те взгляды, какие я имѣю на газетное дело. Я отдаю бы всю свою душу тем, для кого и с кем мне пришлось бы работать, и думаю, что это имѣло бы не особенно дурные последствия. Продолжать старое я не мог бы, но влить немного молодого вина в старый мех и сумѣл бы. По крайней мере до сих пор все то, что я в разныя времена давал в газеты (в Москву и Петербург), и все мое больше или меньше близкая соприкосновения с газетными людьми не имѣли дурных последствий, но даже, смѣю льстить себя надеждою, приносили некоторую пользу“.

Интересный упрек посылает Антопа Павловича г. Короленко и Щеглову-Леонтьеву, к которым все время он относится особенно ласково:

„Жажду прочесть повесть Короленко. Это мой любимый из современных писателей. Краски его колоритны и густы, язык безупречен, хотя мѣстами и избыток, образы благородны. Хороши и Леонтьевы. Этот не так смѣл и красив, но теплее Короленко, миролюбивее и женственней. Только Аллах керим! — зачѣм они оба специализируются? Первый не расстается со своими арестантами, а второй питает своих читателей только обер-офицерами. Я признаю специальность в искусстве, как жанр, пейзаж, историю, понимаю я амплуа актера, школу музыканта, но не могу помириться с такими специальностями, как арестанты, офицеры, попы... Это уж не специальность, а пристрастие. У вас в Петербург не любят Короленко, у нас не читают Щеглова, но я сильно вѣрю в будущность обоих“.

„Пора каким-то бы ни было образом прекратить безобразия, предумышленное уложение о наказаниях. Я говорю об оскорблении могил, практикуемом так часто литературными альфонсами и маркерами в роду г. Н. Не достает еще, чтобы на могилах писателей говорили рѣчи театральные барышники и трактирные полове. Меня покорило, когда в телеграмм из Петербурга о похоронах З. я прочел, что рѣчь говорил между прочим и „писатель N“. Что он Генуэз и что ему Гекуба?..“

„Что касается Короленко, то дѣлать как-либо заключения о его будущем — преждевременно. Я и онъ находимся теперь именно в том фазисе, когда фортуна рываает, куда пускать нос: вверх или вниз по наклону. Колебания вполне естественны. В порядке вещей был бы даже временный застой.“

„Мне хочется вѣрить, что Короленко выйдет победителем и найдет точку опоры. На его сторонѣ крѣпкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядов и ясный, хороший ум, хотя и не чуждый предубеждений, но зато свободный от предразсудков. Я тоже не дам фортуны живой в руки. Хотя у меня и нѣтъ того, что есть у Короленко, зато у меня есть кое-что другое. У меня в прошлом масса ошибок, каких не знает Короленко, а где ошибки, там и опыт. У меня кроме того шире поле брани и богаче выбор; кроме романа, стихов и доносов я все перепробовал. Писать и повѣсти, и рассказы, и водевилы, и передовья, и юмористику, и всякую ерунду, включая сюда комаров и мух для „Стрекоза“. Оборвавшись на повѣсти, я могу приняться за рассказы; если последние плохи, могу ухватиться за водевилы — и этап без конца, до самой долой смерти. Так что при всем моем желании взглянуть на себя и на Короленко окомъ песимиста и повѣстать нос на квинту и все-таки не унываю ни одной минуты, ибо еще не вижу данных, говорящих за или против. Поглядим еще лет пять, тогда видно будет“.

„Спѣшу засѣсть за мелкую работу, а самого так и подмываетъ вѣздаться опять за что-нибудь большое. Ах, если бы вы знали, какой сюжет для романа сидит в моей башке! Какія чудныя женщины! Какія похороны, какія свадьбы! Если бѣ деньги, я удрал бы в Крым, съѣл бы тамъ подъ кипарисомъ и написал бы романъ в 1—2 мѣсяца. У меня уже готовы три листа, можете себѣ представить. Впрочем, вру: будь у меня на рукахъ деньги, я такъ бы завертелся, что все романы полетѣли бы вверхъ ногами“.

„Писать рассказы. Одинъ уже послалъ на дѣлахъ Суворину, другой пишу помаленьку и шпифую. Летомъ буду кончить надъ романомъ. Свой романъ посвящу я вамъ — это завѣщала мнѣ моя душа. Я вамъ еще ничего не посвящалъ в печати, но в мечтахъ и в планахъ моихъ вамъ посвящена моя самая лучшая вещь.“

„Пись не стану писать. Если будетъ досугъ, то сдѣлаю что-нибудь пурманное, но осень и зиму буду отдавать только бедетристкѣ. Не улыбаюсь мнѣ слава драматурга“.

Хотя Чеховъ к толстымъ журналамъ сначала не питалъ сочувствія, однако потомъ смирился с ними.

„В своемъ письмѣ вы оказали моей повѣсткѣ такой хорошей приемъ, что я боюсь... Вы ждете отъ меня чего-то особенно хорошаго — какое поле для разочарований! Робю и боюсь, что моя „Степь“ выйдетъ незначительной. Писать я ее не спѣша, какъ гострономъ вѣдятъ дунелей: съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. Откровенно говоря, выжимаю изъ себя, лажусь и надѣюсь, но все-таки въ общемъ она не удовлетворяетъ меня, хотя мѣстами и попадаются въ ней „стихи в прозѣ“. Я еще не привыкъ писать длинно, да и лѣнь. Мелкая работа меня избаловала. Кончу „Степь“ къ 1—5 февраля, не раньше и не позже. Пришло же непремѣнно на ваше имя, такъ какъ, дебутируя въ толстыхъ журналахъ, я хочу просить васъ быть моимъ крестнымъ баткой. Вамъ не придется вѣдѣть въ почтамтъ и засвидѣтельствовать повѣстку, такъ какъ вышло я вамъ посылку „съ доставкой“. Вы только заплатите четвертакъ, который я буду вамъ долженъ. Ради Бога простите за безпокойство“.

„Моя „Степь“ похожа не на повѣсть, а на степную энциклопедію“.

После получения отъ Академіи Пушкинской преміи 500 рублей А. П. Чеховъ, которому завидовали разныя бездарности и ничтожества, разражается строкками справедливаго негодованія:

„Теперь о зависти. Если премію мнѣ дали въ самомъ дѣлѣ не по заслугамъ, то и зависть, которую она возбуждаетъ, свободна отъ правды. Завидовать и досадовать имѣютъ нравственное право тѣ, кто лучше меня или тѣтъ рядомъ со мной, но отнюдь не тѣ господа NN и Коми, для которыхъ я собственнымъ лбомъ пробилъ дорогу къ толстымъ журналамъ и къ этой же преміи. Эти с. с. должны радоваться, а не завидовать. У нихъ ни патриотизма, ни любви къ литературѣ, а одно самолюбіе. Они гетовы повѣсти меня и Короленко за успѣхъ. Будь я и Короленко — гени, снаисы съ нимъ отечество, создай ми храмъ Соломоновъ, то насъ возненавидѣли бы еще больше, потому что г. NN не видятъ ни отечества, ни литературы — все это для нихъ вадоръ; они замѣчаютъ только чужой успѣхъ и свой неуспѣхъ, а остальное хогъ травой пораста. Кто не умѣетъ быть слугою, тому нельзя позволять быть господиномъ; кто не умѣетъ радоваться чужимъ успѣхамъ, тому чужды интересы общественной жизни и тому

нельзя давать въ руки общественное дело“.

„Романъ значительно подвинулся впередъ и съѣл на мѣль въ ожиданіи прилива. Посвящаю его вамъ — об этомъ я уже писалъ. Въ основу сего романа кладу я жизнь хорошихъ людей, ихъ лица, дѣла, слова, мысли и надежды; дѣль моя — убить сразу двухъ зайцевъ: правдиво нарисовать жизнь и кстаи показать, насколько эта жизнь уклоняется отъ нормы. Норма мнѣ неизвѣстна, какъ неизвѣстна никому изъ насъ. Все мы знаемъ, что такое безчестный поступокъ, но что такое честь — мы не знаемъ. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми послѣднее и умѣе меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода отъ наспія, отъ предразсудковъ, невѣжества, чорта, свобода отъ страстей и проч.“

„Писать большое очень скучно и гораздо труднее, чѣмъ писать мелочь. Вы прочтете и увидите, какую уймю трудностей пришлось пережить моему неопытному мозгу“.

„Правы вы также, что не можете глатъ человекѣтъ, который только-что плакалъ. Но правы только отчасти. Ложь — тотъ же алкоголизмъ. Лгуны лгутъ и умираютъ“.

Въ тѣ времена максимальный гонораръ въ толстомъ журналѣ представлялся для Чехова въ весьма скромной цифрѣ:

„Насчетъ аванса у насъ уже былъ разговоръ. Скажу еще только, что чѣмъ раньше я получу его, тѣмъ лучше, ибо я зачахъ, какъ блоха въ вейбергскомъ анекдотѣ. Если издательница спроситъ о цифрѣ гонорара, то скажите ей, что я полагаю на ее волю, въ глубинѣ же души, грѣшный человекѣтъ, мечтаю о двухстахъ за листъ“.

„Какъ ваше здоровье. Выходите ли вы на воздухъ? Если судить по критикѣ Буренина о Мережковскомъ, то у васъ температура 15—20 град. мороза. Холодно чертовски, а вѣдъ бѣдныя птицы уже летятъ въ Россію. Ихъ гонятъ тоска по родинѣ и любовь къ отечеству. Если бы поэты знали, сколько миллионъ птицъ дѣлаются жертвою тоски и любви къ родинѣ мѣстамъ, сколько ихъ мерзнетъ на пути, сколько мукъ претерпѣваютъ они въ мартѣ и въ началѣ апрѣля, прибывъ на родину, то давно бы востѣли ихъ... Войдите вы въ положеніе коростели, который всю дорогу не летитъ, а плѣтъ пѣшкомъ, или дикаго гуся, отдающагося живьемъ въ руки человекѣтъ, чтобы только не замерзнуть... Тяжело жить на этомъ свѣтѣ“.

„Что касается В., то претензія его на меня мнѣ кажется неожиданной и по меньшей мѣрѣ странной. Быть у него я не могъ, потому что не знакомъ съ нимъ. Во-вторыхъ, я не бываю у тѣхъ людей, къ которымъ я равнодушенъ, какъ не обдаю на юбилеяхъ тѣхъ писателей, которыхъ я не читалъ. Въ-третьихъ, для меня еще не наступило время, чтобы идти въ Мекку на поклоненіе...“

„Исполать много пишущему Щедрину и Щеглову. Конечно, много работать лучше, чѣмъ ничего не дѣлать, и вапъ упрекъ по адресу молодыхъ писателей вполне заслуженъ. Съ другой же стороны, многописание къ лицу не всякому писателю. Взять бы хоть меня къ примѣру. Въ истекшій сезонъ я написалъ „Степь“, „Огни“, пѣсу, два водевила, массу мел-

кихъ рассказовъ, началъ романъ... и что же? Если промѣть 100 пудовъ этого песку, то получится (если не считать гонорара) 5 золотниковъ золота, только“.

„Смѣшно сказать, „Ивановъ“ и книжкѣ сдѣлала меня рангеромъ. Будь я одинъ, могъ бы прожить безбѣдно года два-три, лежа на диванѣ и пуская шпелки въ потолокъ“.

„Я трусь и интелгентъ; боюсь торопиться и вообще боюсь печататься. Мне все кажется, что я скоро надѣмся и обращусь въ поставщики баласта, какъ обратились Я., М., В. и пр., какъ и я, „подававшие большія надежды“. Боязнъ эта имѣетъ свое основаніе: я давно уже печатаюсь, напечаталъ пять пудовъ рассказовъ, но до сихъ поръ еще не знаю, въ чемъ моя сила и въ чемъ слабость“.

Одно изъ писемъ Антопа Павловича я приведу почти цѣлкомъ. Въ этихъ строкахъ личность молодого писателя и устойчивость его взглядовъ обрисовываются вполне определенно. Онъ какъ бы до-полняетъ ту программу свою, какъ писатель-художникъ, которую я привелъ въ началѣ фельетона.

„Простите, дорогой Алексѣй Николаевичъ, что пишу на простой бумагѣ; по-товой нѣтъ ни одного листа, а ждать, когда принесутъ изъ лавочки, не хочется и некогда“.

Большое вамъ спасибо за то, что прочли мой рассказъ, и за ваше последнее письмо. Вашими мнѣніями я дорожу. Въ Москвѣ мнѣ разговаривать не съ кѣмъ, и я радъ, что въ Петербургѣ у меня есть хорошие люди, которымъ не скучно переписываться со мной. Да, милый мой криликъ, вы правы. Середина моего рассказа скучна, сѣра и монотонна. Писать я ее лѣньво и небрежно. Привыкнувъ къ маленькимъ рассказамъ, состоящимъ только изъ начала и конца, я скучаю и начинаю жевать, когда чувствую, что пишу середину. Правы вы и въ томъ, что не таите, а прямо высказываете свое подозрѣніе: не боюсь ли я, чтобы меня сочли либераломъ? Это даетъ мнѣ поводъ заглянуть въ свою утробу. Мнѣ кажется, что меня можно скорѣе обвинить въ ожорствѣ, въ пьянствѣ, въ легкомысліи, въ холодности, въ чемъ угодно, но только не въ желаніи казаться или не казаться. Я никогда не притался. Если я люблю васъ, или Суворина, или Михайловскаго, то этого я нигдѣ не скрываю. Если мнѣ симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная и бывшая на курсахъ, то я этого въ рассказѣ не скрываю, что кажется достаточно ясно. Не причу я и своего уваженія къ земству, которое люблю, и къ суду присяжныхъ. Правда, подозрительно въ моемъ рассказѣ стремленіе къ уравновѣшиванію плюсовъ и минусовъ. Но вѣдъ я уравновѣшиваю не консерватизмъ и либерализмъ, которые не представляютъ для меня главной сути, а ложь героевъ съ ихъ правдой. Петръ Дмитричъ летитъ и буйфонитъ въ судѣ, онъ тяжелъ и безнадеженъ, но я не хочу скрыть, что по природѣ своей онъ милый и мягкій человекѣтъ. Ольга Михайловна лжетъ на каждомъ шагу, но не нужно скрывать, что эта ложь причиняетъ ей боль. Украинифиль не можетъ служить уликъ. Я не имѣлъ въ виду П. Л. Христова съ вами! П. Л. умный, скромный и про себя думающій паренъ, никому не навязывающій своихъ мыслей. Украинифильство Л. — это любовь къ теплу, къ костюму, къ языку, къ родной землѣ. Оно симпатично и трогательно. Я же имѣлъ въ виду тѣхъ

глубокомысленныхъ идіотовъ, которые бранятъ Гоголя за то, что онъ писалъ не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и блѣдными бездѣльниками, ничего не имѣя ни въ головѣ, ни въ сердцѣ, тѣмъ не меньше стараются казаться выше средняго уровня и играть роль, для чего и нацѣпляются на своихъ лѣбъ ярлыкѣ. Что же касается человекѣтъ 60-хъ годовъ, то въ изображеніи его я старался быть остороженъ и кратокъ, хотя онъ заслуживаетъ дѣлаго очерка. Я щадилъ его. Это полинявшая, недѣятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы; въ V классѣ гимназіи она пойма-на 5—6 чужихъ мыслей, застыла на нихъ и будетъ упорно бормотать ихъ до самой смерти. Это не шарлатанъ, а дурачокъ, который вѣруеть въ то, что бормочетъ, но мало или совсѣмъ не понимаетъ того, о чемъ бормочетъ. Онъ глупъ, глухъ, безсердеченъ. Вы бы послушали, какъ онъ во имя 60-хъ годовъ, которыхъ не понимаетъ, брѣзжитъ на настоящее, которого не видитъ; онъ клеветаетъ на студентовъ, на гимназистовъ, на женщинъ, на писателей и на все современное и въ этомъ видитъ главную суть человекѣтъ 60-хъ годовъ. Онъ скученъ, какъ яма, и вреденъ для тѣхъ, кто ему вѣритъ, какъ сусликъ. Шести-десяте годы — это святое время, и позволять глупымъ сусликамъ узурпировать его значитъ оплошать его. Нѣтъ, не вычеркну я ни украинифильки, ни этого гуся, который мнѣ надѣлъ. Онъ надѣлъ мнѣ еще въ гимназіи, надѣдаетъ и теперь. Когда я изображаю подобныхъ субъектовъ, или говорю о нихъ, то не думаю ни о консерватизмѣ, ни о либерализмѣ, а объ ихъ глупости и претензіяхъ“.

„Писать понемногу свой романъ. Выйдетъ ли изъ него что-нибудь, я не знаю, но, когда я пишу его, мнѣ кажется, что я послѣ хорошаго обѣда лежу въ саду на свѣтъ, которое только-что скопили. Прекрасный отдыхъ. Ахъ, застѣблите меня, если я сойду съ ума и стану заниматься не своимъ дѣломъ“.

„Вино и музыка всегда для меня были отличнѣйшимъ штопоромъ. Когда гдѣ-нибудь въ дорогѣ, въ моей душѣ или въ головѣ сидѣла пробка, для меня было достаточно выпить стаканчикъ вина, чтобы я почувствовалъ у себя крылья и от-сутствие пробки“.

„У меня полтора мѣсяца была инфлюенца, было осложненіе со стороны легкихъ, и я жестоко кашлялъ. Въ мартѣ уѣзжаю на югъ въ Полтавскую губернію, и буду жить тамъ до тѣхъ поръ, пока не прекратится мой кашель. Сестра поѣхала туда покупать хуторъ“.

„Намекъ Антопа Павловича на осложненіе со стороны легкихъ едва ли не единственный за время многолѣтней переписки съ А. П. Плещеевымъ. Надо думать, что это было начало болѣзни, которая доконала впоследствии Чехова.“

Во всехъ письмахъ его, относящихся къ первымъ годамъ литературной деятельности, замѣтной пытью проходятъ жалобы на тоску, усталость, проглядываетъ порою несимметрическое настроеніе, которое чередуется однако съ ровными надеждами и довольно бодримъ духомъ. Постоянно жаждетъ Чеховъ на обстоятельство, на необходимость писать пустяки и мелочи, которыя ему не по душѣ. Со-стояніе здоровья Антопа Павловича совсѣмъ тогда не тревожило.

А. Плещеевъ.

Хотелъ писать театральна